



С. Н. БУЛГАКОВ

Л. Н. Толстой (1911)

II. ТОЛСТОЙ И ЦЕРКОВЬ *

Больно касаться этого вопроса, но именно в нем не должно быть ни двусмысленности, ни недоговаривания. Между Толстым и людьми Церкви одновременно существовало и сильнейшее отталкивание, доходившее до взаимной вражды, и вместе с тем безотчетное притяжение, какая-то близость. Догматически отношения здесь очень просты и ясны. В своем вероучении Толстой, несомненно, отпал от Церкви (притом одинаково и от православия, и от католичества, и даже от ортодоксального протестантизма). Торжественного «отлучения» могло и не быть, но это само по себе ничего не изменяет в существе дела **. Вера в Христа как Богочеловека, в искупление, в триипостасность Божества, в действительность церковных таинств и молитв — все эти основы церковного учения радикально отвергались Толстым, и притом нередко в такой форме, которая не могла не производить на верующих самого тягостного впечатления. Грубые и иногда злоб-

* Настоящий очерк представляет собой расширенную переработку заметки под тем же заглавием, напечатанной в «Русской мысли» (1911, I).

** В свое время это было превосходно разъяснено Д. С. Мережковским в его реферате «Лев Толстой и Русская Церковь» (см. в «Записках Религиозно-философских собраний в С.-Петербурге»). Здесь, между прочим, говорится: «До какой степени я убежден, что свидетельство Церкви о неверии Л. Толстого *как мыслителя* в христианского личного Бога и в Единородного Сына Божьего, а следовательно, и свидетельство об его отпадении от христианства есть истина, — видно из того, что многие страницы моего исследования «Л. Толстой и Достоевский», написанные еще до определения Синода, посвящены были доказательству этой истины» (С. 68).

ные кощунства над предметами православных верований рассыпаны в религиозных сочинениях Толстого, особенно выделяют-ся в этом отношении «Царствие Божие внутри вас» и «Воскресе-ние». Конечно, они продиктованы не духом любви и терпимости и не могут не оскорблять религиозного чувства людей Церкви. Собственное религиозное мировоззрение Толстого, не играя сло-вами, также трудно назвать христианским. Не только своим упор-ным и настойчивым отрицанием основного верования христиан-ства — во Христа как Сына Божия, но и во всей своей религиозной метафизике, в учении о Боге, о душе, о спасении, Толстой оста-ется чужд христианству и к последним годам жизни все дальше от него отходит. С христианством его сближает только этика, да и то в своеобразном и весьма упрощенном истолковании, однако в христианстве этика имеет не самостоятельное, а производное значение, подчинена догматике и, оторванная от этой последней, получает совсем иной смысл. Религиозность Толстого имела со-знательно эклектический характер, и всего легче это увидеть, заглянув в столь излюбленные Толстым его сборники: «Круг чте-ния» или «Путь жизни» (его последняя работа). В религиозном своем мировоззрении Толстой является беспримесным предста-вителем просветительского рационализма, как он вырабаты-вается начиная с 17-го века с его чудобоязнью и отрицанием сверхъестественного откровения и откровенной религии. Вера в *естественную религию*, открывающуюся в каждом человеке, с особенной же ясностью в религиозных мыслителях, но в суще-стве своем всюду тождественную, вполне разделяется Толстым с другими просветителями. Отсюда проистекает его метод нани-зывания изречений разных мыслителей, который, при кажущем-ся эклектизме, в действительности вполне соответствует этому основному его религиозному убеждению. Отсюда же проистекает и его манера отбрасывать все индивидуальное и конкретное в исторических религиях, в частности и в христианстве, и выво-дить за скобку общее, но потому и абстрактное. В этой абстракт-ности и рационалистичности религии Толстого не лежит ли раз-гадка и того, что она так плохо мирилась в нем с его искусством, которое было мистически богаче и красочнее, нежели эта дистил-лированная религия. По крайней мере, автор «Севастопольской обороны» и «Войны и мира» умеет рассказать о православии не-что совсем иное, нежели автор «Царствия Божия». Как бы то ни было, но христианство имеет для Толстого значение только *од-ной из многих* форм религиозного самосознания человечества, принципиально вполне равнокачественных. Отсюда это постоян-ное, утомительное повторение ряда имен религиозных учителей:

Будда, Магомет, Конфуций¹, Иисус, Сократ... Сюда присоединяются и другие имена, вплоть до наших современников, так что сама собою напрашивается и еще прибавка к этому перечню: *и Толстой*. Ее уже и делают неумеренные почитатели, забывающие, что от великого до смешного один шаг. Однако гораздо хуже то, что, по-видимому, от этой прибавки, сознательно или бессознательно, не всегда бывал свободен и сам Толстой. Во всяком случае, только крайне низкий уровень религиозной сознательности в нашем обществе объясняет распространенное отношение к этим религиозным разногласиям, как к каким-то пустякам или недоразумениям. Церковное учение и «толстовство» (как и многие другие разновидности крайнего рационализма) действительно между собою непримиримы, между ними возможна только борьба и никаких компромиссов. Разумеется, это не распространяется в такой степени на вопросы этики, где наблюдается менее разногласий, больше согласия.

И, несмотря на все это, нефанатизированное, беспристрастное сознание не может относиться к «еретику» Толстому как к «язычнику и мытарю», т. е. как к совершенно чужому для Церкви. Даже и отлученный, Толстой остается близок к Церкви, соединяясь с ней какими-то незримыми, подпочвенными связями. Может быть, здесь сказывается обаяние художника, прежде умевшего подойти к интимной стороне православия, да и позднее, хотя бессильно, к нему тянувшегося (вспомним его путешествия в Оптину, его попытки подойти к народной вере, описанные в «Исповеди»). Сердце не чувствует его окончательно оторвавшимся от связи церковной, в этом отрыве видится скорее какое-то временное недоразумение, которое вот-вот может выясниться, завеса упадет, и Толстой сам лучше поймет себя, нежели доселе. Такое чувство не оставляло меня при жизни Толстого и — странно сказать — не вполне оставляет и теперь, хотя в эмпирически-осозательной форме этого прояснения и не совершилось. Даже и теперь трудно отказаться от чувства как бы церковной связи с ним, и, думается мне, это чувство не приходит в противоречие с духом Церкви и любви церковной. Таковы чувства. Но есть и объективные основания, по которым Церковь не может рассматривать Толстого только как, например, Ария² или другого ересиарха. Ведь нельзя забывать, что деятельность Толстого относится к эпохе глубокого религиозного упадка в русском обществе. Своим влиянием он оказал и оказывает положительное влияние в смысле общего пробуждения религиозных запросов. Оно уподобляется в этом смысле влиянию тех мыслителей древности, которые были «детоводителями ко Христу» и «христианами до

Христа», или же религиозных проповедников в странах нехристианских. Грустно приравнять наше просвещенное общество к языческому, но ведь оно в действительности таково. Изображения некоторых из этих бессознательных мыслителей Христовых Церковь помещает даже в притворах храмов наряду с иконами. И там, где есть место Сократу, Платону, Аристотелю, Птоломею³, Омиру⁴, не окажется ли места и Толстому, не в самом храме, но при *входе* в храм, к которому он приблизил некоторых своим общерелигиозным влиянием.

Но скажут: разве можно вероотступника приравнять к тем, кто жил до Христа и лишен был возможности познать Его? Да, разница эта огромна, и сближение, конечно, не должно быть отождествлением. К великому плюсу присоединяется здесь и великий минус, но нам не дано ведать тайны сердца и подводить итог; это будет сделано одновременно лишь с тем, когда будут подводиться окончательные и скорбные итоги нашей жизни. Но не более ли отвечает христианскому чувству поискать и своей собственной вины в притуплении религиозной прозорливости у Толстого? Ведь христианство есть не одна философия, не одно учение, но прежде всего жизнь по вере. Какова же наша жизнь? Если мы продолжаем требовать безошибочности в исповедании веры, то таковы ли наши требования от жизни и столь же ли они неумолимы и здесь? И вот, когда среди нас появляется человек, горящий ревностью о вере, и видит кругом себя теплопрохладность, равнодушие, язычество, не выталкивается ли он тогда из нашей среды, как пробка, погруженная в воду? Ведь Толстой отделялся от нас не одним только тем, что веровал иначе, чем мы, но и тем, что стремился к жизни по вере. «Ревность по дому Твоему снедает меня» (Пс. 68, 10). Когда делается сравнение Толстого с древними еретиками, то ведь забывают, чему изменяли эти последние, от какого общения любви они отрывались, забывают, что православие запечатлевалось тогда кровью мученичества или гонением (вспомним жизнь св. Афанасия⁵, этого столпа вселенского православия, гонения иконоборчества и т. д.), а не государственными привилегиями, как теперь, и мы поймем, насколько эти сравнения пристыжают и нас. Я как нельзя более далек от того, чтобы сделать безответственным в ложных, с церковной точки зрения, мнениях самого Толстого, который далеко не всегда умел отличать временное от вечного. Недостатки церковной жизни не могли же к этому побудить людей с большой религиозной зрячестью — напр<имер> Достоевского, Гоголя, Вл. Соловьева. Но вместе с тем это остается все-таки и нашей виной, нашим грехом, что мы не могли удержать в своей среде Тол-

стого. Можем ли мы уверенно утверждать, что в нем проявился бы его антицерковный фанатизм, если бы вся церковная жизнь была иною? И если Толстого малоразбирающиеся в церковных вопросах называют иногда истинным христианином, имея в виду именно его практические стремления, то это смешение понятий имеет свои основания. И потому не раздражение или озлобление, но покаяние и сознание всей своей виновности пред Церковью должно вызывать в нас то, что Толстой умер в отчуждении от нее. Толстой оттолкнулся не только от Церкви, но и от нецерковности нашей жизни, которою мы закрываем свет церковной истины.

Толстой похоронен был без церковных обрядов, согласно своим убеждениям и своему желанию. Как ни больно было для людей церковных пережить эти «гражданские похороны» великого русского человека (всю эту горечь и боль я испытал сам, идя за гробом Толстого), но было бы неизмеримо больше и хуже, если бы случилось иначе и — путем компромиссов — были бы как-нибудь устроены похороны церковные. Ибо это не была бы любовь и примирение, но *ложь*, от которой при жизни столь отвращался Толстой. Это была бы вместе с тем кощунственная профанация величественного христианского погребения, которым Церковь напутствует своих сынов в иной мир. Весь «чин» погребения, плод вдохновения одного из величайших христианских поэтов, Иоанна Дамаскина⁶, имеет в виду принадлежащих к Церкви и разделяющих ее верования (главным образом в искупление). Теперь мы привыкли к этой лжи, ибо по церковному обряду хоронят лиц, заведомо не имевших церковной веры и лишь не подвергнутых церковному «отлучению». Толстой дал нам и здесь горький урок правдивости и последовательности.

Совершенно в таком же смысле должен быть разрешен и разрешился вопрос о служении православных панихид о нем. Как ни прискорбно для всех церковноверующих появление «гражданских панихид», но все-таки это лучше профанации церковных. Ведь и чин панихиды, представляющий сокращение погребения, также имеет в виду лишь принадлежащих к Церкви и разделяющих ее верования*. И именно потому православные панихиды в

* Вот, напр<имер>, в «последовании по исходе души от тела» читается в одной из молитв в применении к усопшему: «Аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Св. Духа, Бога Тя в Троице славима верова, и единицу в Троице, и Троицу во единстве, православно даже до последнего издыхания исповеда. Тем же милостив тому буди, и веру, яже в Тя вместо дел вмени...» Судите, насколько уместны и допустимы эти слова о Толстом и какая это была бы чудовищная профанация.

отношении к Толстому неприменимы как заведомая ложь, которая становится безразлична только при состоянии полного религиозного нигилизма, а следовательно, и глубокой чуждости Толстому.

Однако неприменимость панихидного чина вовсе не значит, что вообще невозможна церковная молитва о душе новопреставленного раба Божия Льва. А такая потребность, несомненно, существует, ибо есть немало людей искренно церковных, которые, хотя и келейно, но ведь не в разрыве же с Церковью, а сокровенно-церковно удовлетворяли и удовлетворяют этой своей духовной потребности. Дать ей церковно-общественное выражение мог бы только особый «чин» молитвы о лице, хотя и связанном с Церковью неизгладимой печатью крещения, но в своем сознании от нее отрекшемся. Я убежден, что широта любви церковной * дает место такому чину, но где же тот авторитетный орган, который мог бы теперь принять на себя эту ответственную инициативу, не порождая новой взаимной вражды и недоразумений? Если на это могла бы решиться соборная власть церковная или же прямо Собор, то, конечно, лучше и не брать на себя подобной инициативы теперешней организации этой власти. Но, конечно, слово примиряющее, ободряющее, призывающее хотя к уединенной, если не к общественной, молитве об усопшем, могла бы произнести и теперешняя церковная власть, особенно после того, как она проявила так много внимания к умирающему. И здесь Толстой оказался как бы историческим зеркалом, средством самодиагноза. Когда испытывается потребность в движении, то сильнее чувствуется тот «паралич» церковной жизни, который констатировал Достоевский вместе с рядом других независимых и искренних сынов Церкви. Жизнь дает нам горькие уроки, и Толстому суждено было стать орудием такой исторической кары. И поэтому нам надо отнестись к происшедшему не с фанатическим ожесточением, а со строгой самопроверкой и чувством исторической ответственности. Но больше всего приходится жалеть самого почившего, которому так и не удалось прорваться за магический круг враждебности к Церкви, — увы! — им самим около себя очерченный...

* Ср., наприм<ер>, с рассуждениями св. Иоанна Златоуста: «Плачь и о неверных; плачь о тех, которые нисколько не отличаются от них, которые умирают без крещения и миропомазания... будем помогать им по силам... Как и каким образом? *Сами молясь* и других убеждая молиться за них, всегда помогая от имени их бедным. Это доставит им облегчение».

III. ЧЕЛОВЕК И ХУДОЖНИК

Толстой был великим художником слова, и, как таковой, долгое время он, естественно, считал высшим призванием своим служение искусству. Но когда он вступил на путь нового, религиозного самоопределения, пред ним стала задача, высшая, чем это служение, он почувствовал, что отныне он должен перестроить свою жизнь, стать художником своей собственной души. И перед этой религиозной задачей, которая одинаково становится пред всяким, в ком совершилось религиозное пробуждение, независимо от степени одаренности, и его художественный дар, страшный своею ответственностью, должен был стать под религиозный самоконтроль, сделаться орудием Высшей Воли. Человеческое по-прежнему стремилось идти своим собственным путем, но божеское искало подчинить себе это человеческое. Жизнь превратилась в аскетическое противоборство этих двух начал. Религиозная личность вступает в борьбу с человеческой гениальностью и усиливается либо поднять ее до себя и растворить в себе, либо совсем умертвить. Такую аскетическую драму мы не раз наблюдаем в жизни величайших художников: Гоголь, Достоевский, Толстой, художник Иванов, не говоря о наших современниках.

Художник, пока живет в счастливой непосредственности и наивности своего творчества, «поет, как птица, живущая в зеленых ветвях», поет, пока поется и потому что поется. Он отдается при этом стихии своего таланта и несется с нею, куда влечет его вольное вдохновение. Он или смеется молодым, заразительным смехом, или радуется красоте мира и его краскам, или заносит свой сатирический бич, отнюдь не подвергая при этом сомнению своего права на сатиру и своего призвания к обличению, или он в простоте сердечной повествует пленительные «преданья русского семейства» либо величественную отечественную эпопею, или он раскрывает роковую силу страстей, опускаясь на самое дно человеческой души. Законы искусства, неумолимая логика художественного восприятия и творчества владеют художником, эстетические образы заполняют его душу. Он всецело отдается свободному искусству. Любимец муз, он служит только музам, одному лишь чистому искусству. И в душе его живет уверенность в том, что этим служением он дает человечеству то, чего никто не может дать помимо него. Он чувствует себя священнослужителем искусства, жрецом красоты, и своим необманиваемым художественным чутьем он сознает, что он не заблуждается в этом; если только он художественно не лжет, если он не подчиняет

чему-либо чуждому своего искусства, то он действительно приносит людям звуки, краски, слова из мира иного, из «отчизны пламени и слова». Через себя, своим творчеством, он дает выход этим теснящимся в душе его нездешним образам, он снимает преграду двух миров.

Ihr drängt euch zu! Nun gut, so mögt ihr walten,
Wie ihr aus Dunst und Nebel um mich steigt;
Mein Busen fühltsich jugendlich erschüttert
Vom Zauberhauch, der euren Zug umwittert.

(Faust. Zueignung)

И напряженное вдохновенье разрешается сладкой мукой творчества.

Ein Schauer fasst mich, Thräne folgt den Thränen,
Das strenge Herz, es Fühlt sich mild und weich;
Was ich besitze, seh'ich wie im Weiten,
Und das geschah, wird mir zu Wirklichkeiten.

(Там же)

Великий художник есть вещун, ясновидец иного мира. Он говорит от себя, но не свое.

Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!
Вечно носились они над землею, незримые оку, и т. д.

Всякое подлинное искусство в этом смысле мистично, как таинственная глубина жизни, ибо оно опускается до этой глубины. Но вместе с тем оно есть только эта первобытная, натуральная мистика твари — травки, былинки, цветка.

С природой одною он жизнью дышал,
Ручья разумел лепетанье,
И говор древесных листов понимал,
И чувствовал трав прозябанье.
Была ему звездная книга ясна,
И с ним говорила морская волна.

(Баратынский. На смерть Гете)

Так было сказано русским поэтом о величайшем мистике — таиновидце твари, но это же может быть приложено к искусству вообще. Искусство есть орган самоощущения души мира, всей тварной природы как красоты. Как личность художник вырастает, становясь этим органом души мира, вещуном искусства, но настолько же он и умалется как личность, становясь проводником внеличного или в человеческом смысле даже безличного начала. В художественном творчестве вместе со сверхчеловеческим

подъемом и страшным напряжением, таким образом, сочетаются пассивность и безличность. Что-то должно замолкнуть, быть задавленным в личности, которая представляет собой известную полноту волевых, интеллектуальных, этических импульсов, чтобы она могла сделаться органом чисто эстетического восприятия и отображения мира. Чистый эстетизм, свойственный искусству, индифферентен ко всем остальным критериям: для него не существует высокого и низкого, нравственного и безнравственного, чистое искусство стоит по ту сторону добра и зла. Художник обречен на перевоплощение в разные шкуры, как бы ни были они разноценны, даже отвратительны с общечеловеческой точки зрения. Он должен побывать в душе своего героя, как бы в ней ни было темно и грязно, и притом, что особенно важно, не как моралист и обличитель, но как художник, со способностью, как теперь говорят, «вчувствования» во все, там ему открывающееся и поражающее его художественное воображение. И он успокаивается как художник лишь тогда, когда сознает, что достиг полного «вчувствования» и способен возвести в перл создания то, чему, может быть, не должно бы быть и места под солнцем. Души Елены Безуховой и Лизы Калитиной, Клеопатры и Марии Египетской, Плюшкина и маркиза Позы, Скупого Рыцаря и Филарета Милостивого одинаково интересны и достойны внимания художника, его эстетического «вчувствования», как и формы Венеры Милосской наравне с уродами Гойи или химерами на Соборе Парижской Богоматери. Направляет художественное внимание стихия таланта, а не личность. Как человек, художник невольно становится придатком своего таланта, подобно певцу, превращающемуся в футляр своего голоса. Этим и создается материал для религиозной драмы, развертывающейся на почве внутренней коллизии между художником и личностью.

Естественная мистика природы не есть религия, хотя иногда и оказывается для нее благоприятной почвой, также и мистика искусства может быть очень далека от религии и даже соперничать с ней, хотя может и подчиниться ей. Мистика есть слепой инстинкт религиозности, еще не осознавшей своего Логоса, не ощутившей Божества. Лишь религия вносит определенное *что* в темное *как* мистики. Только она поворачивает человека лицом к Божеству и тем пробуждает в нем из стихийной мистической аморфности религиозную личность. Вот почему, между прочим, в своей расплывчатой неопределенности мистика остается религиозно-абстрактной, религия же конкретна. Нет религии вообще, а есть лишь определенные религии, и притом каждая с особым богоощущением, своей догматикой, культом. Напротив, мисти-

ка существует только вообще, и вот почему многие, так легко и охотно кокетничая с мистикой, в сущности лишь отгораживаются ею от религии. Религия относится к мистике как высшее к низшему, она неизбежно стремится ею овладеть, вводя ее в свое русло, причем, в свою очередь, и мистика легко может поднять бунт против религии во имя свободы в своей аморфности, способна поэтому определяться внерелигиозно, а постольку и антирелигиозно. На этой-то почве и зарождается возможность конфликта в душе художника. Последний творит свободно и непосредственно, пока в нем дремлет религиозная личность, но пробуждение ее приносит с собой новый, для искусства внешний и чуждый, религиозный критерий, по которому уже поверяется вся жизнь без исключений, а в частности и художественное творчество. Благо тому художнику, в душе которого оба критерия, эстетический и религиозный, не столкнутся враждебно, но гармонически соединятся и тем взаимно усилят друг друга. Тогда осуществляется свободный союз искусства и религии. В таком случае пред свободным искусством становится высший, религиозный идеал искусства, и тогда вершины искусства озаряются религиозным сиянием. Как возможно это слияние искусства и религии и почему оно оказывается возможно, это остается тайной личности, раскрывающейся в росте души художника, ее можно лишь радостно и благоговейно созерцать, но бесплодно было бы пытаться ее объяснить или рационализировать. Но именно таково искусство в высших своих проявлениях: такова была греческая скульптура и архитектура в язычестве, такова средневековая готика и византийское зодчество, Данте и Беато Анжелико, Микеланджело и Рафаэль (в Сикстине), таково творчество Гете и Достоевского, который, очевидно, не знал разлада художника с человеком и в последних своих произведениях («Братья Карамазовы», «Сон смешного человека») явил образец душевного здоровья — результат гармонии религиозной личности с художником (и это несмотря на пресловутую эпилепсию, отсутствие которой богатырю Толстому все-таки не дало желанной гармонии и здоровья духа).

Но не так благополучно было это у Гоголя и не так у Толстого, судьба которых, при всем огромном различии между ними, в этом отношении представляет так много сродного. Оба они, когда серьезно заболели религией, когда наступил для них религиозный кризис в жизни и искусстве, осудили свое художественное творчество как греховное. Это осуждение не имеет ничего общего с утилитарными или эстетическими оценками отдельных художественных произведений по тем или другим частным мотивам. Оба

они *изнутри* ощутили его греховным, когда почувствовали себя пред лицом судящего Бога, пред Которым распахиваются глубины сердца. Их творчество предстало тогда пред ними как идолопоклонство, как отпадение от Бога. Они так и не сумели примирить в душе своей человека и художника, и тогда в ней прозвучал грозный приговор над их художественным творчеством: «Если правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя... и если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя» (Мф. 5, 29–30). О, дорого, как око и как рука, художнику его искусство, и, как они, есть оно драгоценный дар Божий, и, может быть, подобно Гоголю, не перенесет он этого отсечения. Но от этого драгоценного дара Божия надо отречься во имя Бога, принеся его в жертву к алтарю. И вот начинается это отречение, эта мучительная борьба со своим искусством, агония художника. В изнеможении от нее Гоголь сжигает свою рукопись «Мертвых душ» и кается, как в тяжелом грехе, в своем художественном творчестве, заменяя его отнюдь не гениальным, как бы ни относиться к нему по существу, проповедничеством в стиле «Переписки с друзьями». Также и Толстой отрекается от своего художественного творчества, хочет убить в себе художника, хотя до конца это художественное самоубийство и никогда ему не удастся. От недостигаемой художественной высоты «Войны и мира» он переходит к составлению многословных, однообразных, скучных, с редкими лишь проблесками гениальности, богословских и моралистических трактатов, из которых большинство совершенно не читается уже теперь и скоро будет окончательно забыто. То резонерство, которое раньше было только эпизодическим придатком к его художественным произведениям, теперь выдвинулось на первый план, заслонило собою искусство. Для этого же нового жанра у Толстого не хватало ни подлинного религиозного вдохновения, ни философского дарования, ни логической выдержки и научного метода. Ведь достаточно сравнить чисто богословские сочинения Толстого, хотя бы об Евангелиях, с научными исследованиями *того же* направления, которыми так богата теперешняя протестантская экзегетика, чтобы убедиться, как они неинтересны и слабы именно с точки зрения научного рационализма по сравнению с этими исследованиями, а ведь последние выходили из-под пера не мирового гения, а заурядных тружеников науки. Расстояние между художественными и богословскими произведениями Толстого по силе дарования никак не меньше, чем между художественным творчеством Гоголя и «Перепиской с друзьями», и различие это скрадывается лишь тем, что почти всюду у Толстого все-таки прорывается художник, а также исключитель-

но жгучим характером затрагиваемых им вопросов (о голоде, о порке, о смертной казни).

«Великий писатель земли русской, вернитесь к литературе!» Так взывал в предсмертном письме своем Тургенев, который едва ли как следует понимал всю серьезность коллизии в душе Толстого и смотрел на нее только глазами художника. Но пожелание Тургенева могло бы быть исполнено в том лишь случае, если бы конфликт был изжит и Толстой ощутил бы в себе способность своим художественным творчеством служить Богу. Но он этого, очевидно, так и не ощутил, и роняемые им крохи художественного творчества (как бы ни были они драгоценны) он считал делом второстепенным, как будто стыдился их, хотя в них и просвечивает иногда новое, умудренное и просветленное, отношение к миру. Он подчиняет искусство утилитарным целям, сознательно делает его тенденциозным. В неразрешимости этого конфликта, в неослабевающей остроте этого неизбежного противоречия не лежит ли психологический источник и всей теории опрощения с проповедью неделания!

Tantum religio potuit suadere malorum — скажет по этому поводу поклонник искусства, чуждый религиозного миропонимания. Напротив, при религиозном отношении к жизни в этом самоубийстве художника, в Гоголе, жгущем свою рукопись, и в Толстом, заменяющем перо сапожным шилом и пишущем вместо «Анны Карениной» «Царствие Божие внутри вас», видится полное глубокого смысла и внутренне необходимое религиозное борец человеческого духа. Это болезнь, но болезнь избранных натур не к смерти, а к жизни. Душа человека дороже целого мира, и тем более дороже его художественного творчества, и, если действительно нужно принести это творчество в жертву для спасения души, пусть будет принесена эта жертва. Ведь просто последовать зову Тургенева, по-старому возвратиться к искусству при новых требованиях к себе, для Толстого означало бы падение, а вернуться к нему по-новому он не умел. Первобытная невинность потеряна вместе с непорочною наготы, которая теперь была бы бесстыдством. Здесь тягостно и прискорбно то, что в душе Толстого вообще мог возникнуть такой именно конфликт, ибо, по существу, в нем вовсе нет необходимости, он есть нечто вполне индивидуальное, нечто такое, чего могло бы и не быть. Однако, раз этот конфликт налицо, он должен быть изжит до конца и из него должны быть извлечены все практические выводы.

Так понимаем мы со стороны внутренних мотивов литературную эволюцию Толстого — от великого художника до посредственного богослова и морализующего публициста. Это бесспорное

понижение литературного типа субъективно было для него религиозно-аскетическим подвигом, отсечением соблазняющего члена, жертвой Богу. Однако нельзя умолчать, что возможно и иное, менее благоприятное для Толстого, объяснение этой эволюции не только из аскетических, но и совсем из других мотивов: из своеобразной духовной гордости, для которой недостаточным уже казалось призвание даже первоклассного художника, а нужно было еще высшее служение — религиозного пророка, почти основателя религии. По совести, я не могу сказать, чтобы это понимание совсем не находило никаких точек опоры в том, что нам известно о духовном облике Толстого за эти последние годы. Спасаясь от одного соблазна, он, естественно, мог подпадать другому, гораздо более опасному. Ибо, конечно, религиозная проповедь его имеет более притязательный, а постольку и горделивый, характер, нежели художественное творчество. Про эту сторону деятельности Толстого приходится сказать, что и он, великий, притязал здесь на большее, нежели имел и к чему был призван. Но человеческому суду не дано разделять пшеницу от плевел в душе ближнего, и, как бы ни была запутанна, сложна и противоречива личная психология Толстого, а также и Гоголя, несомненно, что в качестве одного из основных мотивов, хотя, конечно, отнюдь не единственного, в их литературной судьбе был аскетический. И любопытно наблюдать, как с годами у Толстого становится все заметнее стремление в литературной деятельности заслониться от индивидуального творчества тем, что сверхиндивидуально или безлично. Как известно, последние годы жизни его были посвящены составлению сборников изречений из разных мыслителей, т. е. собиранию преимущественно не своих, хотя и разделяемых им, мыслей: сначала это «Круг чтения», из которого вторичной перегонкой извлекается «Путь жизни», первые выходящий только теперь, посмертным изданием. Это канонические книги толстовства, его библия и катехизис. Но в литературном отношении это сплошная мозаика.

Величественное зрелище самопожирания художественного гения исполнено непреходящего религиозного смысла. Но на этом пути аскезы, раз вступил на него Толстой, по неумолимой логике не предстояло ли ему сделать и последний шаг, который совершил, по-видимому, Гоголь? не предстояло ли ему, отрекшись от искусства, преодолеть в себе наконец и писателя вообще? Не приближался ли Толстой в конце своей долгой жизни к последним ее вершинам, когда молчание, уже одно только молчание, способно выражать тайну зримого и слышимого почти на грани двух миров? Умолкнувший Толстой в этой немоте своей дал бы

потрясающее свидетельство свободы духа, и вместе с тем это, конечно, была бы для него высшая религиозная победа над собою, окончательное отсечение той руки, которая действительно соблазняла его. И у него самого — я убежден в этом — не могло не быть этого сознания. Но этой победы над собой ему не дано было одержать, он до последних дней так и остался «писателем». Он не сломал своего пера, подобно Гоголю. Не помог ему в этом и его «уход».

Когда в душе Толстого повелительно зазвучал наконец голос: *transcende te ipsum* — превзойди себя, выйди из себя, — и он, внимая этому зову, рванулся из мира с его соблазнами к великой простоте и тишине последнего молчания, он сам оставил необрезанной одну нить, которая, может быть, всего крепче и привязывала его к «миру», делала его пленником этого «мира». А потому, когда «мир» погнался за ним, то он мог найти его, держась именно за эту нить. И этой последней нитью была не привязанность к друзьям и семье, естественная и трогательная, ибо над нею он уже одержал победу своим отъездом, и не старческая немощь, ибо она бессильна была погасить работу его духа, нет, это было непобежденное писательство, соблазн литературного учительства, тот самый, в борьбе с которым и был выдвинут весь арсенал опрощения. А эмпирически это была положенная в карман неоконченная статья (кажется, по поводу смертной казни), которую он потом корректировал или заканчивал в Оптиной. Но именно это-то для полного освобождения ему и надо было оставить в Ясной Поляне, на добычу «всего мира». Толстой в величайшую минуту жизни, слыша уже зов Божий, в Оптиной пустыни диктует статью — это зрелище полно для меня глубокой грусти и есть свидетельство не духовной силы, но, скорее, слабости. Для тех, кто иначе понимает весь процесс духовного развития Толстого, в этой верности его своему труду при таких обстоятельствах видится, напротив, черта величия и силы. Другие, может быть, посмотрят на это гораздо проще, как на средство отвлечься от страшной душевной боли привычной работой. Мне же видится здесь символ незавершившейся борьбы духа за свое освобождение. Так или иначе, но мир догнал своего пленника, а догнав — снова окружил его своим кольцом. Клетка захлопнулась, и началась астаповская агония... Занавес опускается. А то, что происходило за этим занавесом, в последние часы, ведомо одному Богу, так не будем же нецеломудренной рукою его приподнимать.

Излюбленной и часто повторяемой мыслью Толстого за последнее время, по-видимому, была та, что хотя религиозный иде-

ал вполне и не достижим, но надо постоянно стремиться к его достижению, — мысль глубоко верная и вполне христианская. И именно при свете ее и надо оценивать духовную драму Толстого. Веление «отвергнуться себя» ради Бога, которое становится пред всякой религиозной совестью, для Толстого приняло, конечно, вполне индивидуальную форму. Он услышал в нем призыв «отвергнуться себя» как художника и культурного человека, и глубокие порывы его души, мучительные усилия воли внутренне определились таким образом понятым велением. И каковы бы ни были победы и поражения в этой борьбе и ее конечный исход, — как путь она ведет к определенной цели, полна глубокого религиозного смысла и понятна лишь в свете руководящей своей заповеди. И можно сказать, с этой точки зрения, что задушевнейшее желание самого Толстого исполнилось, хотя и иначе, чем сам он того хотел. Ему так и не удалось окончательно превзойти в себе писателя и всецело перейти на путь религиозного действия. Но своей жизнью, освещаемой ослепительным рефлексом небывалой мировой славы, своей религиозной драмой он дал людям нечто более захватывающее и поучительное, чем все его великие художественные произведения и все его богословские трактаты, дал — свою жизнь.

